

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

2

НОВЫЙ
МИР

2004

2

2004

СОДЕРЖАНИЕ

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ — Кленовая паутина, стихи	7
ОЛЕГ ЕРМАКОВ — Возвращение в Кандагар, повесть	12
ОЛЬГА КУЧКИНА — Оглашенная тишина, стихи	55
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Искренне ваш Шурик, роман. Окончание	59
АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ — Растерянная радость, стихи	104
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ — Спальный район, рассказы	109
АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ — Игра, которой нет, стихи	121

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

СЕРГЕЙ МАРКЕДОНОВ — «Вестфальская» Россия. Черты российского регионализма рубежа XX — XXI веков	124
---	-----

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — «Потом опять теперь»	137
--------------------------------------	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Георгий Владимов — «Генерал и его армия». Из «Литературной коллекции»	144
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ — Невозможность поэзии. Очерк поэтического пространства-времени	152
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Павел Руднев. Новый театральный роман	164
Ольга Канунникова. «Молчит неузнанный цветок...»	167
Павел Крючков. Пригодиться своим ближним	170
Валерий Сендеров. Россия-Империя или Россия-Царство?	175

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ	182
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	191
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ДМИТРИЯ БЫКОВА	200
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	205

НЕКРОЛОГ

ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО	212
-----------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	214
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	218
SUMMARY	240

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!

В 2005 ГОДУ «НОВОМУ МИРУ» ИСПОЛНИТСЯ
ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ.

ПРОСИМ ВАС НЕ ЗАБЫТЬ ПРОДЛИТЬ/ВОЗОБНОВИТЬ
ПОДПИСКУ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 2004 ГОДА,
ПОСКОЛЬКУ У МНОГИХ НАШИХ
ПОСТОЯННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕТ ИНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ЗНАКОМИТЬСЯ СО СВЕЖИМИ НОМЕРАМИ ЖУРНАЛА,
КРОМЕ КАК В БИБЛИОТЕКЕ.

ПОДПИСЫВАЯСЬ СЕГОДНЯ НА «НОВЫЙ МИР»,
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ,
КОТОРЫЙ ЗА МИНУВШИЕ ВОСЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
САМ СТАЛ ОДНОЙ ИЗ РОССИЙСКИХ
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ.

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-радиовещания и средств массовых коммуникаций.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ — «ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ»

Из «Литературной коллекции»

Очень значительная книга. От первых же страниц удовлетворение: настоящая литература, какой (современной) давно не читал. И — мужественный тон. Вся манера повествования — последовательно традиционная, никаких специально издуманных новизн. Ставит сложные проблемы, но все — на сюжетных случаях, образах, а не в общем голом виде.

Для такой обширной по содержанию картины — весьма компактный роман, в конструкции почти нет обвисаний. Тут умело, удачно совмещены столь отдельные моменты войны, как декабрь 1941 под Москвой и октябрь 1943 под Киевом. При, кажется, причудливых переносах повествования — от ординарца Шестерикова, 1943, — к генералу Власову в 1941, дальше к Гудериану. (Власов у храма Андрея Стратилата, первое-первое наше наступление от Москвы — и Гудериан в Ясной Поляне подписывает приказ о первом немецком отступлении от Тулы — какой рельефный узловый момент!) И хотя есть отходы от временного порядка, но это не к худу, большей частью удачи, переходы получаются естественно. Книга несколько раз поражает нас неожиданными поворотами, самый разительный из них — орудийный обстрел генерала Кобрисова своими в конце — и замкнутие на «виллисе», с которого книга начата. Кажется: ни одна как бы случайная завязка, сделанная в романе, — не осталась без такого крепкого конечного замкнутия: и «беспокойство» смершевца Светлоокова о целостности командарма; и медсестра-любовница, так и не названная по имени; и её предчувствие: «ляжешь на том берегу»; и, казалось бы, малозначное предательство шофёра Сиротина (себе же на погибель); и команда на уничтожение Кобрисова передана по тому самому подводному проводу, о котором он так заботился; и множество таких. Достойная и сколь разнообразная конструкция. (Только над главой 5-й, двусоставной, — лубянская камера весной 1941 и летнее отступление 1941, — когда читаешь, возникает опасение: неужели книга теперь пойдёт в слабины? Но — нет! Да и таким необъятным расширением тем для такого компактного романа автор взял на себя задачу почти непосильную).

Организация текста, правда, тоже иногда взывает к большей чёткости: несколько крупных глав, а внутри них совсем разнородные эпизоды бывают и ничем не разделены; неравномерно, лишь кое-где, вставлены звёздочки. Не хватает естественных дроблений текста, облегчающих и динамизирующих чтение.

Фронтальная тема. За необъятную тему советско-германской войны Владимов взялся не только как художник, но и как самый ответственный историк, перебрал, перекопал много материалов самого широкого обзора (и не раз веско и с большим достоинством проявил эти свои познания — уже и за пределами романа, во вспыхнувшей за тем против автора яростной дискуссии). А как

художник-изобразитель — удивительно уверенно Владимов справляется с живыми подробностями, сам в той войне не воевавши. Очень хороша уже только вступительная поэма о гонком генеральском «виллисе». Не робеет и со знанием описывает детали из действий артиллерии, танковых войск, авиации, кавалерии. Детально изучил многие военные подробности, лично-опытные материалы, — это сколько надо было вникать, прозревать, воображать. Отлично дана понтонная переправа при оживлённом воздушном бое («в воздухе, перенасыщенном ненавистью»). Ошеломительно — ночной воздушный десант, idiotически организованный генералом Терещенко, — и страшный конец: как вешали взятых наших десантников на стропах или дожигали в костре. — Среди подбитых «фердинандов»: «неживая сталь пахнет мертвечиной». — И такое общее понимание воюющей армии: «Только малую часть её, как в гранате запал, составляют те, кто воевать любит и без кого война и трёх дней бы не продлилась, а для людей в массе, „в серёдке“, она только страшна и ненавистна». — И такое безошибочное фронтовое ощущение: на передовой нет сволочей, передовая отсекает их. (Только вот двухмесячное отступление крупного сводного отряда, в несколько дивизий, в 1941 без реального соприкосновения с противником — неплотняно, невозможно. И на своей конной тяге протянули — просёлками? — пушки? и, почти дойдя до советской линии, — теперь Кобрисов берётся отбивать немцев? какими снарядами? — и их тоже протянули? два месяца?)

Власовская тема (ещё ранних «изменников», не РОА). По её неосвещённости в советской литературе она в книге выдвигается наряду с основной фронтовой, и даже с особой болезненностью. И как не воздать должное Владимову за его смелость — не уклониться от темы (как увёртливо или дуболомно уклонялись столькие его предшественники, лакировщики, наспех и прославленные). Он не побоялся выстоять встречный гнев и самую низкую брань, которые заглумили возможные серьёзные разборы книги по существу.

Генерал Власов при провидческой встрече своей с храмом Андрея Стратилата и вся сцена вокруг — великолепны. (Привлекательный приём: вводит долго без фамилии — смекай сам.) Автор имеет честность и мужество назвать его (и показать это) «подмосковным спасителем», ему отдаёт, по заслуге, поворот всех боёв под Москвой: «Он навсегда входил в историю спасителем русской столицы, куда четыре года спустя привезут его судить и казнить»; «из такого можно было сделать народного вождя». И портрет хорош (дорисовывает его и в других местах, возвращаясь), так же непреклонно пишет о его заслугах под Киевом в 1941 (ещё одно замыкание в романе: Киев 1941 — и Предславль в 1943).

Короткими наплывами эта тема о странных, всегда неназываемых русских, которые стали воевать против «своих» (против советских), возвращается и возвращается. Сперва — первые пленные «земляки» и как смершевец Светлоков цинично ободряет их, а потом устраивает расстрел их «земляками» же. Потом раздирающая сцена допроса уцелевшего десантника напрягшимся генералом Кобрисовым («от предчувствия, что вот сейчас откроется тайна, которую он был обязан узнать») в навязанном присутствии смершевца — из самых волнующих сцен в романе, тема заклётого «предательства» трепещет, как кровавое мясо, — вошёл же Владимов в тему, сумел! — Тут запетливается целый гарнизон «наших у немцев», несколько батальонов русских — в обречённом Мырятине (и не упущен тот скорбный гимн «За землю, за волю, за лучшую долю», который отзывно звучал в эфире в войну), — запетливается на опыт, понимание и смущение Кобрисова, что направит и судьбу операции, и его судьбу — как ложная приманка для обстрела в конце. И — реальная расправа с русскими из мырятинского окружения: им объявили в мегафон: «Плывите» (через Днепр). — «Да вы же стрелять будете?» — «Не будем. Слово чекиста». «И не стреляли. А послали катер, он по ним носился зигзагами, утюжил и резал винтом. Вскипала кровавая волна. Не выплыл никто».

Ещё ж и другие эпизоды. Только одной разработки этой темы было бы достаточно, чтобы роман Владимова навсегда остался отмечен в русской литературе.

Закончить и о Гудериане. Обрисовка его сразу пошла хорошо, свободно, в уклонение от неперемного, навязанного стандарта. Удачно найдено это беспомощное сползание его танка в овраг — как импульс к отступательному приказу. Интересен общий план кампании глазами Гудериана. Poleмика Гудериана с Толстым интересна и по сути и хорошо осмысливается применительно к современности.

Тема НКВД и СМЕРШ'а. Она разработана во многих эпизодах и на нескольких персонажах.

Отметны и страхи генералов в ялтинском санатории перед войной.

Дальше — три грозных энкаведиста навстречу большому воинскому соединению, выходящему из окружения в 1941. Дальше, конечно, «Дробнис» (Мехлис) и фронтовые расстрелы после сталинского приказа 227 (27.7.1942) — очень сильная сцена, как лейтенант Галишников в отчаянии готов расстреляться сам, но не губить своих солдат. Мехлис («красные сверлящие глазки, надменная отвислая губа») — как раз таков, чего он стоит.

Хотя в предвоенной лубянской камере, в арестантском самочувствии не передана трагическая безысходность, сползает к камерной болтовне с вяловатым остроумием — но очень свеж, удался следователь Опрядкин — и наружность его, эта «ухмылка, не затрагивающая ледяных глаз», и ловкая переменчивость поведения, и крайняя амплитуда её — до коньяка и торта, когда он внезапно вынужден вернуть генералу отглаженный мундир и пистолет.

И ещё свежее смершевец Светлооков. Самое свежее в нём — что он взят из фронтовиков-строевиков — так недавно прост в обращении, да и сейчас сохранил ту манеру, компанейский, простодушные глаза, никакого чванства, любит литературу. Научиться сыску, кажется, и успеть было некогда — а природное ли открылось? И вербовки проводит, достаточно варьируя, глядя по клиенту, хотя где-то и обрываясь на грубом заученном повторе. Что-то от его службы, но что-то же и от личности, что командующий армией «всегда пасует» перед ним. Завязанная им сеть вокруг генерала как будто забывается по ненужности — и вдруг, к концу, так грозно обрушивается артиллерийским смертным налётом. (И внезапно проступают читателю с новым смыслом как будто недельные распросы особиста — боится ли генерал смерти, чувствует ли себя заговорённым.)

Но вполне типична тайная сотрудница смершевского майора, штабная телефонистка Зоя. По отношению к ней (таких случаев за всю книгу всего два-три) автор позволяет вмешаться своему голосу и провиживает её будущее — через радостную лейтенантку недель военной Победы, с подъёмом в центральный аппарат КГБ — и с отработкой в «дебёлую партийную бабёнку, переспавшую со всеми инструкторами обкома».

Генерал Кобрисов. Весь образ в целом задуман глубоко, типично — да и удался. Хотя на ранних страницах автор мог бы помочь нам ясней его увидеть, это потом только на сотнях страниц нам выступает, даже и наружность. (Однако сам по себе приём затянуть его молчаливое присутствие — хорош. Сама и фамилия генерала названа впервые только на 40-й странице, хотя всё действие — плотно вокруг него.) Даже и в 4-й главе, в середине книги, зрительского вида сильно не хватает, задержка в обрисовке генерала становится недосветом. Внутренний его мир — если можно так назвать, выясняется и ещё поздней. Кое-что важное — история женитьбы, страхи в ялтинском санатории в 1940 — даны нам уже в конце книги как объёдки сюжета, после кульминации главного действия они уже и мало интересны, не поспевают к лепке образа. Знали бы мы всю биографию пораньше — легче было бы и нам осмысливать, да и

самому автору легче бы работать. Правда, едва названа наконец фамилия, тут же узнаём, что Кобрисов — из реабилитированных. Это — даёт нам некое предвиденье сюжета (впрочем, мы в нём значительно обманемся — к художественному успеху автора).

Наружность постепенно нагляднее: от «грузен», «кабанья туша», далее «высокий» (уже почему-то роста и не ждёшь), «ниточка усов», которой все в армии будто бы подражают (никак ему не идёт, трудно увидеть) — дальше ясней: «восемь пудов», «мясистость лица», «глазки под толстыми бровями» (а брови ему подравнивает ножничками ординарец), «складчатая шея», «сутулящаяся спина», — к концу очень виден: распротранённый вид советского генерала, да и прообраз будущего Брежнева.

Соответственно сказанному Кобрисов не блещет эрудицией. Что Киев сызначала едва не назвали Предславем в честь Предславы, сестры Кия, — откуда б такое диво? — он узнал из фронтовой газетки. Обдумывание впервые увиденного, через Днепр, Киева — уже слишком интеллектуально для него, впрочем, вскоре он напевает и пошлую частушку. Что будто запомнил наизусть стих Луговского — мало верится. Впрочем, этого тяжелодумья автор не обыгрывает и в обратном, сатирическом, смысле. (Милая шутка с конфискацией подлинников писем Вольтера: «но копии есть?» Потом и сам читает Вольтера, да на фронте? — напрочь невероятно.) Автор тактично останавливается на немногих тут штрихах.

Политическое сознание (или взгляды?) Кобрисова более половины книги скрыты от нас. В эпизодах расстрела Мехлисом отступающих (летом 1942), кажется, тронулось сердце Кобрисова? Бегло читаем, что «весна 41-го сделала его другим», — ещё не понимаем. Вослед нам объяснено: лубянская посадка на 40 дней. На следствии он ведёт себя стандартно, да и никаких политических убеждений не проявляет, хотя через пяток недель уже и повернулся: «Да кто их защищать будет, сукиных сволочей, когда они такое творят!» (Но это не получает развития.)

Возвращённый в генеральское звание и в строй ещё месяцем позже, «думал сходно» (с комиссаром троцкистского типа Кирносом) о свержении Сталина? и даже, с неожиданной прозорливостью? — что не в 37-м году дело, а вот: кронштадтские матросы! крымские офицеры! «и сам руку прикладывал к неправому делу», — оказывается, подавлял басмачей, — а внуки басмачей «назовут их национальными героями», — уж совсем невероятные для него прозрения. Однако — быстро возвращается в привычное генеральство, и от других отличает его лишь острый интерес к Власову и власовцам. Даже: «не раз примерялся к положению Власова». А когда внезапно вместо опалы получает звание генерал-полковника — снова верит в Сталина, благодарен ему. Несмотря на пережитое, он неисправимо принадлежит к общей породе советских генералов.

А — военные свойства его? Из прошлого узнаём: солдатский Георгий за Первую Мировую войну — очень возможно, такие тоже многие пошли к большевикам. Потом исключительно успешно (но не ощущено нами в реальности) отступал в 1941 году? И вдруг — неосторожный, безоглядчиво-беспечный его заскок в Перемерках, выпить коньяку, на передовой несколько километров пешком, с одним ординарцем? Восемь пуль ему в живот — и ото всего бесследно оправился? да ведь сколько органов должно быть продырявлено? ну, чудеса бывают, допустим. Вот решение переправиться через Днепр с первым же батальоном, «решил включить в план операции свою гибель» — может быть, от того момента, «когда разглядывал в окуляры стереотрубы „отдыхающего“ чёрного ангела с крестом (статую Владимира Святого над Днепром) и вдруг почувствовал, что перед ним, возможно, осуществление самой большой из его надежд?» Это, конечно, поступок, на который шёл редкий генерал, вдохновительный пример для солдат, трудно переоценить. Другое дело — насколько он эффективен для самой операции, с плацдарма куда трудней управлять. В переправе-то «он почувствовал себя лишним среди этих людей». Вот —

и что сделал для него лейтенант Нефёдов — рассеял группу «фердинандов», — это решающее всё равно прошло без него. Однако, обходя вослед «маленький лагерь бессловесных», погибших, — малоестественно приходит он к мысли: «люди гибнут за металл» фердинандовых коробок — совсем не генеральская мысль, и не по уровню мышления Кобрисова вообще. Скорей вот эта: мертвецы и сгоревшие «фердинанды» — «зловещая, отвратительная, но и прекрасная картина, от которой он не мог оторвать глаз».

Кроме явного честолюбия — силы личных чувств в Кобрисове нигде автор не отмечает, даже напротив. Бесчувственно, бегло генерал воспринимает весть, что утонула его любовница, — ну, может быть, по огненности плацдарменного момента, только — «Как же это? Как допустили?» — впрочем, и очень верно. Но — позже? потом о ней? — ни скольженьем. Так же и к лейтенанту Нефёдову — не выполнил обещания, данного герою в предсмертный час, не послал письма его возлюбленной. Воспринимается без веры и что, при близости с медсестрой, испытывает не мелькучее, а чуть не молитвенное угрызение совести к жене: «Неужели же мне всё не простится?» — Так же совсем без доверия воспринимается сообщение автора (ничем не подтверждённое, ни на чём более не показанное): «И стало частым (?) непривычное ему, раньше и не сознаваемое как необходимость, обращение к Тому, о Ком он не задумывался путём, лишь тогда вспоминал, когда смерть грозила или мучило ранение». Вот суеверие — это есть, во вспышке всего лишь мелкой дурной приметы раздражается на танкового майора: «под трибунал пойдёшь!» (да кто на фронте не слышал этого от генералов, и сколько раз).

А что непрерывно движет Кобрисовым — честолюбивая жажда успеха. Он — и лестью выторговывает желанное ему от Ватутина приказание на мырятинский плацдарм. Во взрыве этого честолюбия — чего же другого? — услышав благодарственный приказ Сталина с лишней звездой на погон, он совершает свой впечатляющий внезапный поворот от Москвы опять на фронт — «Предславль брать, не меньше!»

Уже к самому концу книги автор придаёт Кобрисову и как будто способность человековедения: оказывается, он всегда понимал и знал, что три ближайших к нему человека — адъютант, ординарец и шофёр — были на крючке оперуполномоченного. И, уже в отставке, к старости, когда он «вымучивал свои мемуары», где правды сказать нельзя, а все сочиняют, — Кобрисов «всё большее облегчение находил в том, чтоб уходить под защиту своей дури». Он, вот, и командовать расхотел, и даже ему «вспоминать войну расхотелось». И докоснулся он до мысли, что «умирание — тоже наука». И вот когда — с теплотой приходит в память та мимоходная сестра — и её почти безошибочное предсказание, что «ляжет он на том берегу». Хотя и не умер там, но именно там настигли его снаряды собственные, из пушек *его* армии и направленные смершевцем.

Кроме Кобрисова и Власова в авторский свет на краткое время попадают ещё и другие генералы, скрытые за разными псевдонимами: Черновский (Черняховский), Рыбко (Рыбалко) — этот мало выразителен, почти ничего о нём, «с быстрой хищной улыбкой» Терещенко (Москаленко?), бесшабашный авиатор Галаган (М. Галлай?). И под своими фамилиями — Ватутин и Жуков. Кроме Жукова не берусь судить ни о чьей степени достоверности, Ватутин кажется вялым (был ли он таким?). Но что достоверно: что генералы, в соревновании друг с другом, заняты не общими военными интересами Родины во всей кампании и не сохранением жизни подчинённых, а перехватом: «я возьму! я возьму!», очередным куском славы. Жутко подумать, что так и было (нам, снизу, не было это видно). — А Жуков при всей краткости и немногословности показа — («жёсткая волчья ухмылка», «цепкий, хищный глазохват», «чудовищный подбородок, мало не треть лица», «твёрдые губы обронули „здась...”») и его поведение на совещании — всё очень натурально, убедительно.

тельно. Весь этот военный совет описан легко и живо. — Так же живой и Хрущёв — верна его политрукская суетливость («он имел счастливое свойство не замечать производимых им неловкостей»), и пренебрежительное отношение Жукова к нему, и глупо-пропагандное решение: брать бы Киев генералу-украинцу (так и подстроили).

Прямо политическое. Почти бесплотное, призрачное отступление сводного отряда в 1941 заполнено диалогами Кобрисова с дивизионным комиссаром Кирносом. Сам по себе этот Кирнос, ископаемый троцкист, вполне бы сгодился как тип мышления и тип характера, но — кабинетного.

Черты Кирноса карикатурны (кажется: единственный, кроме Хрущёва, юмористический тип в романе), и сам вид его — «больной нахохленной птицы с заострённым носом, беспокойным лихорадочным видом, исступлённо горячими чёрными глазами», и действия его вроде накопления уцелевших партбилетов, изумление, от какой такой буржуазной пропаганды литовцы бросали на наши отступающие войска из окон цветочные горшки или опоражничали ночные — и теперь пишет большое донесение партии — «не теперешней, которая утратила всё лучшее, а той, которая должна быть и будет». (Его разоблачения Сталина для 1941 года ещё невозможны, а сегодня уже и сильно устарели. Тем более невероятны откровенные суждения о Ленине в лубянской камере 1941.) Дальше комизм Кирноса уже и переходит границы: вот им, отступающей армии, войти в Москву с боем и спасти завоевания революции, «революция обязана себя спасти любыми средствами», «надо суметь подавить в себе жалость», и Кобрисов станет диктатором, а «я помогу тебе избежать многих ошибок», «вот чего тебе не хватает. Надо же наконец-то вплотную познакомиться, что писали Маркс и Энгельс, что говорил Ленин». Вместе с тем он не умеет даже плавать, изнемог от застрела раненой лошади — когда же застрелился сам, это не воспринимается трагично. — А собственно, вполне нынешнего и современного начальника политотдела армии у Кобрисова как будто нет — он не действует (то есть не мешает), безмянен даже, промелькнул — и нет его.

А вот ярко: проходка Сталина в сопровождении Берии по коридору наркомата обороны мимо сотни амнистированных генералов и других чинов — вместо речи к ним с ненаправленным брюзжанием: «Труссы, предатели, зачем выпустили, никому верить нельзя». Вот это находка. (Или кто-то сохранил в памяти, так и было?) Очень похоже на Сталина. (И перешёл на грузинскую речь тут же.) И — верна радость амнистированных, и готовность служить. (И — верна преданность Кобрисова на кунцевской горке: Верховный «лучше всех изучил, что нужно этому народу». Он уж так благодарен Сталину за упоминание в приказе и очердное звание.)

Другие персонажи. Живой до предела, верный истине — десантник, взятый немцами в плен, а теперь обратный перебежчик от мырятинских власовцев. Это — натуральный кусок нашей истории. И — то простодушие, которым он даёт на себя обвинительный материал. («Этот парень не озаботился запастись легендой».) По-моему, это одна из вершин книги.

И трогательно хорош лейтенантик, бывший студент-филолог, ещё не состоявшийся поэт Нефёдов, обеспечивший всю удачу переправы и polegший со своим отрядом, жертвенно. Не только сцена у Кобрисова тепла, но и ответы лейтенанта через Днепр, по радио: «Какие у меня силы?» — устало — «ну, постараемся». И — верна высокая прощальная отрешённость умирающего Нефёдова.

Ординарец Шестериков — каков надо, и удачен, — однако не вполноту. Жива нерядовая история его сдружения с Кобрисовым. Безупречно показаны все его усилия спасти раненого генерала. Начиная от прислуживания в госпитале, в Москве, но как будто с начисто отрубленной своей предшествующей жизнью (как будто не привязан ни к родным местам, ни к жене, и где следы коллективизации?) — тем уже ослаблен. Вызов к Светлоокову сперва поведен

оригинально, но потекла беседа не так удачно: ждёшь, что мужичок будет сильно дурить и плутать, а он прямо-таки выставляется. И автор — вмешивается со своими объяснениями. И: откуда может существовать такое досье на рядового? Крестьянскую обиду в Шестерикове надо бы выявить раньше, а то — чувство вдруг встало в неожиданной зрелости. И планы на послевоенную службу при генерале у него тоже как у бессемейного. Но — великолепно командует по телефонам за генерала во время переправы. И очень выразителен, когда, с дурной вестью о гибели медсестры, ничего не говорит, а сел перематывать портянки.

Безымянная медсестра («дочка»), любовница Кобрисова, в единственной своей сцене — достоверна («печать мужественности и простоты, бесхитростный и гордый вызов» — и не нежность, не обиходливость с ней генерала), а дальше («я с этим батальоном пойду» через Днепр), по своей безвременной жертвенной гибели в момент победы генерала, оставляет сильно ноющее чувство. (Очень ярко: сопоставление, одновременность их любовной сцены — и начавшейся переправы и разведки на том берегу.)

Адъютант Донской — и ничего бы, но автор склонился на игру сопоставлять его с Андреем Болконским; настоятельные напоминания о том, и мысли самого Донского о том — от этого появляется привкус вторичности. А сам по себе служебный эгоизм — конечно, част, но мало его для характера.

Опора на «Войну и мир» — несколько избыточная (а через Гудериана как раз естественная), тут и жертвенность Наташи Ростовой два раза. Конечно, сопоставление 1941 и 1812 само на это тянет. Однако от прямого толстовского влияния Владимов зорко освобождался и почти не подпал под него.

Четыре персонажа сразу хорошо суммированы в последней сцене: что каждый из них думает и рассчитывает, сидя в обречённом «виллисе», — перед своею неизвестной смертью.

Удался и тот безымянный наводчик, который послал роковые снаряды с его «знобящим страхом» понимания, что — бьёт несомненно по своим... И — в его догадке — всплывает опять тема власовцев: «Какая тёмная вода протекла между своими?» Сильнейшая сцена, и какое стройное замыкание темы.

И наводка «параллельного веера» по обрезу проглянувшего месяца — какое совмещение строгой артиллерии — и поэзии.

И целая серия ярких удач — во всей кунцевской сцене («Поклонная гора»). И поведение простых работниц с их жалостью к военным, вовсе не погибающим за обильным завтраком, и их простодушно ошибочное истолкование чувств генерала. И о голосе радиодиктора: «горланно-бархатный, исполненный загаённого до поры торжества», а потом «загремел звонко-трубно, державно-ликующе». Сам приказ Верховного, от которого взмывает весь сюжет, и внутренний голос генерала по ходу приказа — прекрасные картины и мысли о войне. «Волна грозного веселья, мстительной радости, жгучей до слёз». И вершина всего — недослышавший шофёр «студебеккера»: «Какой такой Сятин [Мырятин]? Мелкоту отмечаем! А как Харьков сдавали — кто помнит, бабоньки? Одна строчечка была в газетах». И взрыв гнева на него: «Дезертир! Чтоб ты взорвался! Падла!» (Простой народ — на стороне дутого салюта...)

К той главе («Поклонная гора») эпиграф из Некрасова очень уж лобовой (лучше б его не было). Да и эпиграф из Кирсанова перед танковой переправой — тоже лишний, зачем он? (Другое дело, если бы приём эпиграфов проводился какой-то бы органической линией.)

После обстрела «виллиса» переход повествования на рапорты — верно и выразительно.

За фоном языковым не всегда следит. Для мыслей Шестерикова вдруг: «вариант», «персонаж». Хотя и косвенно передаёт разговор шофёров — но тут и «коллега» и «амбиция».

— Прежде рассвета видны «косящие обиженные глаза жеребёнка» (?).

— Пейзажный приём: при переправе первый солнечный луч разящим лучом разрубил Днепр надвое, «и светлая бликующая дорожка, пересекавшая реку, запламенела, окрасилась в красно-малиновый. По обеим сторонам дорожки река была ещё тёмной, но, казалось, и там, под тёмным покровом, она тоже красна, и вся она исходит паром, как дымится свежая, обильная тёплой кровью, рана». Очень хорошо, органично слито с сюжетом.

— «Чем привязать себя к жизни, чтобы подольше выдержать одолевающее притяжение небытия?»

Иногда — до афористичности:

— «Божье братство полов, так пленительно меж собой враждующих».

— «В стране, где так любят переигрывать прошлое, а потому так мало имеющей надежд на будущее».

2001.

